

“Рецепт психического здоровья
в психически нездоровые времена:
читайте два раза в день, утром и перед
сном, по одному эссе Льва Рубинштейна.
И жить станет лучше. Уж во всяком
случае веселей.

Борис Акунин

ЛЕВ РУБИНШТЕЙН
ПРИЧИННОЕ
ВРЕМЯ

CoRpus

Лев Рубинштейн
Причинное время

«Corpus (АСТ)»

2016

УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)-44

Рубинштейн Л. С.

Причинное время / Л. С. Рубинштейн — «Corpus (АСТ)», 2016

ISBN 978-5-17-097676-8

Поэт, один основоположников московского концептуализма Лев Рубинштейн – едва ли не самый известный российский колумнист последних лет. В коротких, точных и едких текстах автор дает исчерпывающую характеристику событиям, находит их причину и предсказывает последствия. Но важно не только это – тексты Рубинштейна, написанные по самым разным поводам, принадлежат настоящей литературе и формируют ее не в меньшей степени, чем его знаменитые карточки. И, как любая хорошая литература, настраивают зрение и слух так, что становится труднее пройти мимо подлога и фальши. В книгу “Причинное время” вошли заметки, опубликованные на сайтах Grani.ru и InLiberty.ru

УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)-44

ISBN 978-5-17-097676-8

© Рубинштейн Л. С., 2016
© Corpus (АСТ), 2016

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Пролог | 6 |
| Словарный диктат | 8 |
| Словарный диктат | 8 |
| Петр у ворот | 11 |
| После бала | 14 |
| Судьба текста | 16 |
| Как важно быть серьезным | 19 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 22 |

Лев Рубинштейн

Причинное время

Фотография на обложке: Дмитрий Алешковский
Художественное оформление и макет
Андрея Бондаренко Рубинштейн, Лев

Пролог

Причинное время

Я спросил недавно у Фейсбука: “Скажите, существует ли какой-нибудь специальный – ну, допустим, медицинский или психологический – термин для того типа логических построений, где следствия и причины меняются местами?”

Первобытному мышлению было свойственно устанавливать причинно-следственные связи по принципу “раньше – позже”. Вчера, допустим, грозой свалило большое старое дерево, а сегодня, допустим, у шестой жены вождя разболелся живот. Понятно же, почему это он вдруг разболелся. Не потому же, что вчера эта самая жена нажралась какой-то тухлятины! Вот еще! Упавшее дерево, конечно же!

То есть любое событие воспринимается как следствие происшедшего и как причина последующего.

Но это хотя бы какая-то логика! И на этой логике, по-своему стройной и цельной, основаны многочисленные, существующие и по сей день народные приметы, поверья, гадания, сонники, инструментальная актуальность которых напрямую зависит от стадии цивилизационного развития того или иного общества.

Меня, например, в свое время озадачило вот что. Когда я стал активно общаться с разными людьми из Западной Европы, я обнаружил, что никто из них – кроме исследователей фольклора – не знает никаких своих народных примет, подобных тем, что сопровождают всю нашу повседневную жизнь: про черных кошек, про пустые ведра, про то, что надо непременно посмотреться в зеркало, если ты, забыв что-то необходимое, вынужден вернуться туда, откуда только что вышел, про число 13, про “тьфу-тьфу-тьфу”, про “присесть перед дорожкой”.

Но вот когда последующие события объявляются причиной предыдущих – это я уже не знаю как и обозначить.

Когда, например, утверждается, что дождь пошел, потому что я раскрыл зонтик. Или наводнение случилось потому, что первый этаж дома вдруг оказался под водой. Или совсем уже хрестоматийное “ветер дует оттого, что деревья качаются”. Или война в одной стране началась потому, что были введены санкции против другой, причем уже после того, как случилась эта самая война.

На мой “фейсбучный” вопрос стали приходиться ответы. Например, такой: “«Магическое мышление» это называется. Лет до восьми детям свойственно”.

Детям-то да, это часто бывает свойственно, это правда. Я помню, как одна маленькая девочка говорила: “Вот за окном едут три пожарные машины. Наверное, сейчас где-нибудь начнется пожар”. Это была та же самая любознательная девочка, которая однажды поинтересовалась: “Если змея заползет в крапиву, то кто кого ужалит?”

Дети – это да. А вот когда взрослые...

Когда-то, уже довольно давно, мой товарищ и сверстник, художник и по совместительству большой знаток старых советских песен (знаток потому, что в школьные годы он, как, впрочем, и я, пел в школьном хоре), заметил одну удивительную вещь, странным образом ускользавшую от всеобщего внимания, в том числе и моего.

Припев одной довоенной песни, впоследствии почти позабытой, а в те годы довольно популярной, начинался так: “Мы с железным конем все поля обойдем. Соберем, и посеем, и вспашем”.

“Ты заметил, – спросил меня мой товарищ, – что здесь обозначена обратная последовательность сельскохозяйственных мероприятий, что по идее должно быть понятно даже городскому человеку? Так сказать, от последующего к предыдущему? Что будущее и прошедшее переставлены местами? Что это, в сущности, обратная перспектива, вроде как на иконе?”

Нет, я не заметил. И многие не заметили. Включая и тех, кто благословил эту песню к массовому употреблению.

А уж если эти взрослые не просто взрослые и даже не авторы массовых патриотических песен, исполняемых сводным армейским хором, а взрослые, облеченные, кроме всего прочего, разными властными полномочиями. Это как?

Понимаю, что вопрос этот повисает в плотном воздухе тяжелым топором. И все же...

А также я понимаю, что небрежение причинно-следственными связями вроде как развязывает руки и вроде как открывает широчайшие (хотя и обратные) перспективы.

В довольно давнем моем поэтическом сочинении есть такое место: “Причинно-следственная связь распалась понемногу. И можно смело, не таясь, отправиться в дорогу”.

Что-то в подобном роде можно сказать и теперь.

Словарный диктат

Словарный диктат

Мой приятель-художник рассказал мне однажды о своем приятеле, тоже художнике, его однокурснике.

Этот однокурсник, как в те времена было свойственно многим молодым людям, в той или иной мере связанным с искусством или с поэзией, был одержим темой гениальности и прочей “великости”. “Ты, старик, гений!” – говорилось в те годы практически по любому, иногда и самому незначительному поводу. Или: “Познакомься. Это мой друг Сережа Васильев. Великий поэт, между прочим. А это мой друг Валера. Кстати, великий художник”.

Я помню, как один остроумный человек после того, как ему представили очередного великого поэта, сказал: “Ну, великий – это ладно, это понятно. А стихи-то у него как, ничего? Читать-то можно?” Так вот, тот самый однокурсник однажды женился. Женился вроде как вполне счастливо.

Но буквально через пару недель после веселой шумной свадьбы мой друг встретил его на улице сильно пьяным и заплаканным. “Что случилось?” – спросил он. “Я сегодня узнал, что моя жена не считает меня гением, – сквозь нетрезвые слезы сказал тот. – Я понял, что она меня не любит. Она, правда, говорит, что любит, но она не считает меня великим художником и не гордится мной. А просто любит. Но какая же это любовь!”

Я вспомнил этот забавный, хотя и по-своему драматичный эпизод потому, что эти три ключевых понятия: величие, гордость и любовь – выделяются также и из нынешней официальной риторики и тоже, хотя и не вполне очевидными причинно-следственными узелками, связаны между собой.

Вот какая-то депутатка сказала однажды, что главной, а может, и единственной задачей единого учебника истории является формирование чувства любви к своей стране и гордости за ее славное прошлое.

Начнем, пожалуй, с “любви” – это как-то приятнее во всех отношениях.

Представляю себе, как юная девушка-старшеклассница приходит в районную библиотеку и, слегка розовея, говорит: “Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь про любовь”. – “Понимаю. Одну минутку”, – слегка улыбаясь, ностальгически вздыхая и вспоминая собственную юность, говорит пожилая отзывчивая библиотечка и снимает с полки единый учебник истории.

Учебник истории, оказывается, не про историю. Он – про любовь. Рассказанная на примерах из исключительно славного прошлого *love story*. История любовных отношений между народом и государством. А то, что любовь эта носила и носит исключительно односторонний характер и что ее довольно затруднительно назвать разделенной, так что с того. Любовь, как известно, зла. Иногда до полной свирепости.

И в том, что эта самая вполне абстрактная “любовь” реализуется, как правило, не столько в форме любви к родному, допустим, пепелищу или, например, к отеческим гробам, сколько в различных формах вполне отчетливой, хотя и иррациональной ненависти – ненависти к другому, к чужому и непонятному, – тоже нет ничего особо противоречивого. Давно известно, что два этих сильных чувства близкородственны, что одно от другого располагается, как теперь говорят, в шаговой доступности.

В обыденной человеческой жизни любовь и гордость находятся в непростых отношениях. Иногда они друг другу противоречат. “На свидание собралась? Ну ладно, иди уж. Только смотри, не приходи поздно и, главное, не теряй гордости”, – наставляет строгая, выдавшая раз-

ные виды мамаша свою неопытную дочь. “Казаться гордою хватило сил”, – поется в старой лирической песне про “ромашки спрятались”.

Но то все другая любовь и другая гордость. А государственная любовь и верноподданническая гордость – это совсем иное.

Но и тут дама-депутат, разумеется, что-то сильно напутала. Или же ее кто-то коварно обманул.

И учебники истории, и сама история нужны вовсе не для того, чтобы гордиться. Но и не для того, чтобы проклинать или стыдиться. Чтобы гордиться или проклинать, не нужна никакая история и никакие ее учебники. Зачем они? Садись на стул, ставь перед собой портрет или вешай на стенку географическую карту и гордись сколько влезет. Ну, или, наоборот, бранись всеми доступными словами.

История же нужна человеку и обществу для того, чтобы знать и понимать. Знать и понимать, что происходило, что происходит теперь и что может в дальнейшем произойти с нами, вокруг нас, после нас. А знание и понимание пусть себе уже конвертируются либо в гордость, либо в гнев, либо в стыд. Это уж, как говорится, зависит. И даже, признаться, немного совестно повторять столь очевидные вещи. Но приходится, что делать.

Ну, и “величие”, конечно. Величие, с чьей мощной разрушительной силой никакие “любовь” с “гордостью” соревноваться не в силах.

Державно озабоченные мыслители на разные лады, по разным поводам и с разными интонациями бесконечно тиражируют знаменитую фразу Петра Столыпина про “великие потрясения” и про “великую Россию”. И про то, кому и что из этого нужно.

Не знаю, кому как, но большинству вменяемых людей никакие особенные потрясения точно не нужны. Хоть великие, хоть малые. А нужно совсем другое. Но беда в том, что насущная, как воздух, необходимость этого *другого*, из века в век залавливаемая неподъемным грузом “величия”, но все равно ищущая выхода, время от времени взрывается теми самыми потрясениями, которые якобы кому-то нужны.

И потому эта разболтанная до полной непригодности конструкция, постепенно ставшая тем, что в лингвистике называется “порождающей моделью”, легко преобразовывается в другие, более конкретные построения:

- Вам нужны гражданские свободы?
- Вам нужны честные выборы?
- Вам нужны независимые состязательные суды?
- Вам нужны конституционные права?
- Вам нужно уважение к международному праву и соблюдение международных законов и договоренностей?
- Вам нужна свобода волеизъявления? Свобода слова, печати, мирных собраний? Свобода творчества?
- Вам нужно, чтобы власть не врала и не воровала?
- Вам нужны достойная медицина и достойное образование?
- Вам нужно соблюдение норм современного светского государства?
- Вам нужна полиция, не попирающая, а защищающая права граждан?
- Вам вот это все нужно? Ну-ну. А нам вот нужна великая Россия. Понятно?

Нет, непонятно. Потому что непонятно, чем, кроме избытка легковоспламеняющихся горючих веществ и легковоспламеняющейся войны, можно заполнить это самое “величие”, эту безразмерную, пустую, гулкую емкость, в которой нет места всему выше перечисленному и еще многому другому.

Навязчивая и неутолимая похоть “величия” не может слишком долго скрываться под рыхлым культурным слоем, как клоп под подушкой.

Я понимаю, конечно, что сопоставление абстрактного и пышно звучащего понятия с небольшим вредоносным насекомым может выглядеть несколько натянутым. Согласен. Но есть все же между ними нечто общее, что кажется существенным.

Во-первых, у многих соотечественников моего поколения и то и другое равно ассоциируется с далеким коммунальным детством, когда радиоточка, питавшая и возвышавшая нежные души неумолчными заклинаниями о величии родного государства, висела на стене, густо покрытой бурными клопиными пятнами.

Но объединяет их еще и то, что существование как того, так и другого невозможно без человеческой крови. Ни то ни другое нежизнеспособно без кровавого рациона.

Впрочем, “величие” – не вполне пустое слово, пустых слов не бывает. Помимо блуда величия, не отмеченного и не обеспеченного ничем, кроме непропорционально раздутых жабр, существует все же и величие замысла, и величие мысли, и величие духа, и величие повседневного жеста или поступка.

Я где-то прочитал однажды о том, что на одной из улиц одного небольшого городка в одной из стран (не помню, в какой, да это и неважно; точно, что не в нашей) поселилась семья, в которой был глухонемой ребенок. По этому случаю все (*все!*) жители этой улицы приняли решение срочно выучить язык глухонемых, чтобы иметь возможность общаться с этим мальчиком.

Прочитав это, я подумал, что если и бывают случаи, когда такие слова, как “любовь” или “гордость”, совсем не нуждаются ни в каких кавычках, то именно в этом или в подобных случаях. И что если без слова “величие” обойтись никак невозможно, то примерно это оно, собственно, и значит. А больше, в общем-то, – ничего.

Петр у ворот

Целый день, а то и два я мучительно не хотел высказываться на эту тему. Даже коротко. Даже междометием. Никак не хотел. И сам не понимал, почему.

Когда сразу же многие (очень многие) кинулись обсуждать (осуждать, восхищаться, критиковать, издеваться) эту горящую дверь и ее автора и постановщика, было еще совсем не ясно, что это всего лишь начало. Что это всего лишь нечто вроде поднятия занавеса – пусть даже и очень эффектного.

А представление между тем только началось.

Я это понял окончательно, когда дело дошло до суда.

Я не хотел высказываться, но зато замороженно следил за развернувшейся многоголосой полемикой, в которой иногда слабо угадывался обнадёживающий контрапункт, а иногда лихо хлестала заставлявшая зажимать уши отчаянная какофония.

Самое трудное и мучительное, хотя и необходимое, в восприятии и понимании (или хотя бы попытке понимания) новых, до недавнего времени незнакомых художественных практик— это однозначное обозначение жанра. А потому и жанр происшедшего определялся в этой разноголосице самым разнообразным образом в зависимости от степени его принятия или неприятия: “подвиг”, “поступок”, “жест”, “акция”, “выходка”, “высказывание”, “преступление”, “событие”, “инцидент” и прочее.

Неменьшим разнообразием отличались и эпитеты: “героический”, “психопатический”, “красивый”, “хулиганский”...

Очень часто звучали неизбежные в подобных случаях конструкции, начинающиеся со слов “а если бы”. “А если бы там, внутри, оказались люди? Например, ночной сторож...” А, ну да. Ночной сторож. Дядя Вася. В валенках и телогрейке. Прирабатывающий к пенсии ночным сторожем в ФСБ. Скорее всего, ага.

А если бы в кинотеатре во время сеанса рухнула бы люстра? А если бы во время детского спектакля кто-нибудь из детей так напугался бы Змея Горыныча, что навсегда остался бы заикой? А если бы я, зачитавшись книжкой, не заметил бы, как из ванны перелилась бы вода? На каждом шагу подстерегает нас великое множество различных опасностей, так или иначе связанных с искусством и литературой.

Или: “А если бы вашу дверь...”

А почему вдруг мою, а не вашу, например? Шучу, шучу – вашу тоже не надо. Но мы ведь с вами не государственные учреждения, согласитесь? Не карательные же мы с вами органы? Я-то во всяком случае – точно.

“Тогда где разница между искусством и обыкновенным хулиганством? Между искусством и террористическим актом?”

Ну, она— при некоторых внешних формальных сходствах – как минимум в том, что терроризм или хулиганство непременно связаны с насилием над человеком или – как минимум – с угрозой человеку, его здоровью, его достоинству. А в акционистском искусстве если и бывают жертвы, то этой жертвой становится сам художник. Видите разницу? Нет? Жаль.

Человеку, склонному сблизать или идентифицировать различные явления по исключительно внешним, формальным признакам, объяснить эту разницу довольно трудно. Но надо.

А потому главным вопросом становится вопрос: это искусство или не искусство. Это искусство или хулиганский поступок? Это искусство или выходка психопата? Это искусство или политический акт?

Одной из важнейших и серьезнейших задач современного искусства является вполне просветительская по сути задача не только провести и обозначить, но и постараться объяснить очевидную не только для специалистов границу между территорией искусства и территориями

социальной, религиозной или частной жизни. Цель этой задачи – постараться объяснить, что воспринимать и оценивать то и другое неправильно и невозможно, исходя из одного и того же набора критериев.

Существует особый род художественной практики, когда отдельный жест сам по себе кажется лишенным и смысла, и формы. Именно это обстоятельство позволяет многим третируют это искусство как “элементарное неумение что-либо нарисовать”, как “судорожное стремление во что бы то ни стало заявить о себе”, как не искусство вовсе. Однако и форму, и смысл, и значение, и пафос это искусство обретает лишь в контексте – историческом, культурном, социальном, дискуссионном. В данном случае еще и в политическом.

Время от времени в истории искусства и в истории народов и государств случаются короткие замыкания, при которых эти границы на короткое, но необычайно запоминающееся время исчезают вовсе, и тогда художественный, социальный, нравственный жесты становятся неотличимы друг от друга.

Когда говорят о “подвиге художника”, то чаще всего понимают это метафорически. Но метафоре время от времени свойственно материализовываться, оставаясь при этом метафорой. И это один из таких случаев. Это тот случай, когда формулы “служение искусству как гражданский подвиг” и “гражданский подвиг как служение искусству” не противопоставлены, а сопоставлены друг другу. Когда художественный акт воспринимается как гражданский поступок, а гражданский поступок как факт истории искусства. Когда многозначительной и символической становится любая деталь, даже та, что ворота ада пометил жертвенным огнем и загородил своим телом человек по имени Петр.

Отдельного внимания заслуживает дискуссия, развернувшаяся непосредственно в экспертном, то есть в художественном сообществе. Там есть самые разные высказывания – от очень интересных и глубоких до вполне идиотских или – в лучшем случае – поверхностных. Там есть разные оценки – от безусловного восторженного одобрения до порицания в лучшем случае, а в худшем – глумления или насмешки.

В некоторых высказываниях ощущается плохо прикрытая рассуждениями о “прекрасном” ревность. И это как раз понятно. Художник – существо, как правило, эгоцентричное, и ему трудно принять, что кто-то другой делает то, на что бы сам он не решился, даже если бы и захотел. Такой художник говорит: “Ну, и чего он добьется? Ну, сядет, дурачок, а ведь многое мог бы сделать”. Или: “Это, разумеется, акт отчаяния того, кто не сумел стать настоящим художником”. Или: “Ладно бы он сделал плохо только себе. Но ведь и другие пострадают. Вот возьмут, например, и закроют нашу галерею”. Или: “Эта акция эстетически слабовата, потому что... Вот я бы, если бы...” Ну, и так далее.

Вообще-то в этой, как сейчас говорят, резонансной акции участвовал и участвует не один художник. В ней азартно участвуют все обсуждающие и спорящие. В ней участвуют судьи, прокуроры и адвокаты, ведущие просветительскую работу среди судейских работников. В ней с самого начала активно участвовали правоохранительные органы, обозначившие свое участие, а возможно, и сочувствие к художнику своим блистательным – долгим и деликатным – отсутствием на месте события, как бы давая понять: “Ты, парень, закончи, что начал. Не торопись. Сделай все как следует. Мы уж подождем. Ну, а потом уж задержим тебя, как положено. Служба, ничего личного”.

Участвует, как говорят в цирке, вся труппа.

Важнейшей задачей художественного акта является создание коммуникативной, дискуссионной ситуации, силового поля вокруг него. Ситуация создана, да еще какая! И она обречена на саморазвитие.

И совсем даже не важно, какие суждения о художнике и созданном им событии высказывают те, кто говорит и еще будет говорить об этом. Важен и убедителен сам факт этого говорения. И он свидетельствует о том, что художник победил. Уже победил, каким бы ни был даль-

нейший ход и исход судебного зрелища. Впрочем, это и без того понятно, потому что художник всегда побеждает.

После бала

Страсти все не утихают. Оно и понятно: тема и правда болезненная. Она, эта тема, – тема “гибридная”, как и все прочее теперь: гибридная война, гибридный мир, гибридная история, гибридная память. И всё, как всегда, свалено в одну кучу – совершенно искренние и действительно возвышенные чувства самых разных людей, привыкших понимать это событие как исключительно семейное дело, и разухабистый “пир победителей”, победителей непонятно кого и чего.

К сентиментальности я отношусь неплохо. Более того, я и сам вполне сентиментален. Сентиментальность, если она не сопровождается надрывной крикливостью и ударяющим в нос дурновкусием, несет в себе катарсический потенциал. А мелодрама – это вовсе не низкий жанр, это младшая сестра трагедии, в счастливых случаях поднимающаяся до ее подлинного и очистительного, а не ложного, симулируемого пафоса.

То, что власть всегда использует частные человеческие чувства и светлые человеческие порывы, человеческий энтузиазм и жертвенность в своих исключительно шкурных и неблагородных, мягко говоря, целях, давно известно. Это, можно сказать, общее место.

Я в данном случае о другом. О тех самых “дедах”, которым “спасибо за победу”.

Это сейчас они “деды”, а для кого-то и “прадеды”. Это сейчас их стало удручающе мало. И вполне понятно, что по мере их убывания и, чего уж там, постепенного исчезновения эти вполне реальные – живые или ушедшие – люди превращаются в общественном и индивидуальном сознании в черно-белые картинки, покрытые густым, приторным и не очень прозрачным лаком. Это неизбежно, как неизбежно отчуждение реальной и не всегда аппетитной истории в удобный для употребления миф.

Я уже говорил, и не один раз, о том, что люди моего поколения, для которых “деды” были “отцами”, “дядями” и “тетями”, видят это все не вполне так же, как это видят те, кто помоложе.

Я рос среди фронтовиков, они были повсюду. И никакого специального отношения к ним не было. Что было вполне естественно: они всего лишь принадлежали к тому поколению, на голову которого упала война. Так уж случилось.

Они были совершенно разные – умные и глупые, добрые и жестокие, благородные и подлые, щедрые и жадные, красивые и уродливые.

Вокруг меня было очень много инвалидов – это воспринималось как часть нормального и привычного антропологического ландшафта. Вокруг меня было очень много тяжелых и иногда очень шумных и скандальных алкоголиков.

Я в изрядных количествах видел в электричках и на рынках так называемых “самоваров”, грохотавших на своих маленьких платформах-подставках с подшипниковыми колесиками. Такими же точно колесиками гремели по тротуарам самодельные мальчишеские самокаты.

Я слышал вокруг себя много разговоров и рассказов про военный быт. Мне, выросшему на книжках про героев вообще и про пионеров-героев в частности, он казался предательски непривлекательным.

Фронтовики клубились около пивных точек. Они ругались, обнимались, пели хриплыми голосами. Я слышал, как один из них рассказывал другому о том, как он был в плену. “У немцев там был порядок знаешь какой? – с непонятным мне почтением говорил он. – Не то что у нас. Там не посачкуешь. Там тебе быстро...”

Я слышал, как подвыпившие фронтовики вслух костерили “сук-особистов”. А ведь это было небезопасно тогда.

Я помню учителя физики Николая Кузьмича, про которого говорили, что он “контуженый”. Значение этого слова стало окончательно понятным для меня в тот момент, когда он за

мое плохое поведение запустил в меня тяжелой стеклянной чернильницей, но, к счастью, не попал. Помню, как притих класс и я вместе с ним. Помню, как по задней стене класса разлилось огромное чернильное пятно. Помню.

Я много слышал в те дни про “Ташкентский фронт”. Для носителей концепции “Ташкентского фронта” было тогда, в начале 50-х годов, время самое благоприятное.

Тогда же я в первый и последний раз увидел дерущимся своего отца, человека крайне невоинственного и к тому же некрупного. Услышав в очереди в билетную кассу от пьяноватого мужика что-то про “Ташкентский фронт” и про то, что “я за вас, гадов, кровь проливал”, отец немедленно двинул мужику по уху. Тот среагировал неожиданно. Он почесал ухо и совершенно миролюбиво поинтересовался: “Воевал, что ли?” – “Да уж воевал, – ответил отец, – Ленинградский фронт. Слышал про такой?” – “Ну, слышал, – с некоторой даже обидой в голосе сказал мужик. – Чего ж сразу драться. Пойдем лучше выпьем. У меня есть”. От приглашения отец твердо уклонился. Расстались не сказать чтобы друзьями, но мирно. Я потом спрашивал у отца, что это за такой “Ташкентский фронт”. Он ответил как-то невнятно, сказав всего лишь: “Да дурак просто”, но я почему-то понял.

Да и вообще в то время постоянно, как пароль и отзыв, звучал мотив “ты где воевал?”.

Вот и к моему дяде, маминому брату, носившему в те годы форму полковника танковых войск, подсел как-то в электричке мужичок в телогрейке и сказал: “Я тоже танкист. А ты, полковник, где воевал-то?” – “Нигде”, – честно ответил дядя. “А! В тылу, значит, сидел?” – “В тылу”. – “А где же?” Тема “Ташкента” в этот раз, слава богу, не прозвучала. “В Челябинске”, – ответил дядя. “А чо ты там делал-то?” – не унимался бывший танкист. “Да я там танки конструировал”. – “Танки? Ну, тогда ладно”. Дядя Вова действительно был автором какого-то важного двигателя.

У некоторых наших ребят, которые были постарше меня лет на пять и больше, отцы погибли на фронте. Это была для них не то чтобы гордость, но как-то прибавляло к ним уважения, что ли...

Когда я в 54-м году пошел в первый класс, мальчишки, конечно, на первой же переменке стали знакомиться друг с другом и рассказывать что-нибудь о своих братьях, сестрах, родителях.

Оказалось, что отцов нету у двоих.

Первый из них (почему-то я запомнил, что его звали Боря Кузнецов) сообщил, что его отец умер в прошлом году. Когда кто-то из нас осторожно спросил, отчего же он умер, Боря безмятежно сообщил, что он в Пасху объелся крутыми крашеными яйцами. Ну, и помер.

Второй же – причем довольно бодрым голосом – сообщил, что его отец погиб на фронте. Мы все уважительно помолчали.

Когда я в тот же самый вечер сообщил дома, что у одного моего одноклассника отец погиб на фронте, я не мог понять, что взрослые нашли в этом смешного. Хороший смех! Человек погиб на фронте! Ни фиги себе!

А живые фронтовики, повторяю, были совсем разные: интеллигенты и хамы, жулики и милиционеры, военные и гражданские, увечные и целые-невредимые, трусы и герои – всякие.

Поэтому у меня, человека своего поколения, нет и не может быть какого-то специального, какого-то особенного отношения к “дедам”. Да, на их поколение упал этот страшный груз. Да, их поколение справилось с этим грузом. И именно потому, что оно справилось и устояло, появилось на свет и следующее поколение, то есть мое. И именно поэтому моя благодарность за это рукотворное чудо столь глубинна, столь интимна, столь естественна и столь, если угодно, обыденна, что она не требует никаких доказательств и никаких отдельных формулировок.

Поэтому мне ни за что не пришло бы в голову выражать эту свою благодарность посредством огромных букв на заднем окошке автомобиля.

Да и автомобиля у меня нет.

Судьба текста

Почему в нашей истории и в нашей жизни все происходит именно так, а не иначе? Почему мы обречены на то-то и на то-то? Почему мы не воспользовались таким-то и таким-то шансом? А вот если бы вдруг, то как бы было? И как вообще надо понимать историю? Если она, история, это текст (а она, разумеется, текст), то какой – данный нам изначально и творимый без нашего непосредственного участия или все же рукотворный, в щелочку или в складочку которого каждый имеет пусть даже и призрачный шанс засунуть скомканную бумажку со своим именем?

Понимание истории как текста породило вечную, как сама история, столь же увлекательную, сколь и бесплодную игру в сослагательность. Эх, почему такого-то не утопили сразу после рождения? А что бы было, если бы такой-то умер не в тридцать семь лет, а дожил бы хотя бы до семидесяти? А если такой-то дожил бы до революции, что бы с ним было? А что было бы со страной и миром, если бы брата такого-то не казнили, а помиловали? А если бы отец такого-то не бил и не лупил бы его по выходным, а играл бы с ним в шахматы и водил по музеям, то что бы могло стать потом с ним, со страной, со всеми нами?

Получается, что история – это сплошная цепь упущенных возможностей. Так и есть, я думаю. Но и любая частная биография (а она, в общем-то, тоже история) – тоже. И в ней, как и в истории, не бывает мелочей. Просто мы не все запомнили. А все то, что мы помним, это точно не мелочь. Потому что то, что интересно, то мы и помним. А то, что мы помним, то и интересно.

Именно из бесконечной череды потерь и упущенных возможностей и состоит наша жизнь. Именно они и лежат в основе того, что мы называем опытом.

Вот, допустим, три маленьких, легкомысленных на первый взгляд истории из моего детства, не связанных между собою ничем, кроме того, что каждая из них – именно об этом.

Сначала я вспомню о том, как в десятилетнем возрасте я подвергся хирургической операции. Мне вырезали гланды. Потому что я постоянно болел ангинами. И доктор Тигран Арамович Мхитарьян, к которому меня привели на консультацию, сказал, что надо удалять.

Надо так надо. И я лег в больницу. Как раз к этому самому Тиграну Арамычу.

Он был мужчина колоритный. Пациенты относились к нему с пиететом. Не только потому, что он считался выдающимся хирургом, признанным специалистом по трепанациям черепов.

Мужики в моей палате с трепетом рассказывали, как однажды он зашел в палату в дурном расположении духа. Увидев, что трое пациентов, которым предписано было лежать и не шевелиться, играют в карты, он взял с тумбочки всю карточную колоду и одним движением разорвал ее пополам.

Он-то меня и оперировал. Я запомнил, как сквозь марлевую повязку торчали его жесткие усы. И еще помню, что во время операции он пел. А больше ничего не помню.

Я заставлял себя не бояться. Во-первых, я все-таки вырос на книжках про пионеров-героев, которые молчали, когда их пытали в гестапо. Но не это было главное. Главное было другое: мама обещала, что сразу же после операции она принесет мне полную сумку мороженого и я съем его столько, сколько захочу.

Операция закончилась довольно быстро. Меня провели в палату, где я залег с мучительной болью в горле. Это было покруче всякой ангины.

Пришла мама. Она не обманула. Она действительно принесла мне как минимум четыре порции мороженого. Или даже пять. Она улыбалась. Она говорила: “Вот видишь! Я же обещала!”

А я, который не мог говорить, лишь махнул рукой в том смысле, что “не хочу я никакого твоего мороженого”, повернулся лицом к стене и заплакал.

Заплакала и мама. Посидела еще немножко и ушла со своим, то есть с моим, так и не съеденным мороженым.

На второй день мне дали мерзкий бульон совсем без соли (такая диета), а на третий я уже оказался способным прийти в неопиcуемый ужас от одной мысли, что я смог отказаться от собственного счастья – от мороженого. И не просто от мороженого. Это бы еще полбеды. А именно от **МОРОЖЕНОГО В НЕОГРАНИЧЕННЫХ КОЛИЧЕСТВАХ**.

Как такое вообще могло со мной случиться!

Вторую историю, которая, если угодно, имеет некоторое отношение к искусству, точнее – к вечно волнующим нас судьбам утерянных, сожженных в печке или незавершенных шедевров, я бы назвал “Неоконченная симфония”.

Она такая.

Однажды весной, под самый конец учебного года, наш 9-й “А” класс на один день отправили в близлежащий колхоз, в рамках введенного в те годы “производственного обучения и трудового воспитания учащихся”.

Колхоз назывался почему-то “Соревнование”. Странное, согласитесь, название.

Что там надо было делать, я уже не помню. Кажется, ничего. Ну, или веточки, что ли, на яблонях обрезать? В общем, не помню.

А помню я другое. Из области искусства, как я и предупреждал. Точнее – поэзии.

Помню, что с другом Смирновым мы почему-то решили сочинить “озорную” частушку про колхозную жизнь. Такие иногда передавали по радио. Так они и назывались – “озорные частушки”. Там иногда продергивали непутевого бригадира или нетипичного, но, к сожалению, все еще имевшего место колхозного лодыря и прогульщика.

Договорились так: я сочиняю начало, а он конец.

Я довольно долго размышлял, а потом придумал:

К нам приехал агроном,
Весь измазанный говном.

А Смирнов стал так яростно хохотать, безжалостно хлопая себя по коленке, что о каком-либо завершении шедевра нечего было и мечтать.

Так и осталось.

Ну, и еще один сюжет, тоже об упущенных возможностях.

В годы моего детства по нашему двору расхаживал такой Женя – человек по возрасту уже довольно взрослый, но с умственным развитием примерно четырехлетнего ребенка.

Несмотря на свойственную детским коллективам стайную жестокость, его не обижали и не дразнили. Он был добрый. Он мог просто подойти и погладить тебя по рукаву или по голове.

Разговаривать с ним было трудно. Точнее – невозможно. Сквозь сплошную и временами бурную глоссологию лишь иногда прорывались отдельные членораздельные слова. Его понимали лишь его родители и младшая сестра Вера.

Однажды он подошел ко мне и, заманчиво похлопав себя по карману пальто, спросил: “Ундры-могу хочешь?” – “Нет! – испуганно и торопливо сказал я. – Не хочу!”

И он развел руками и ушел, что-то то ли бормоча, то ли напевая.

И почему я отказался тогда, ума не приложу. Сейчас бы ни за что не отказался, мне кажется. Как же мы боимся непонятного!

И как же мы не можем избавиться от иногда мучительных, а иногда нелепых и легко-весных воспоминаний обо всем том, что, как нам кажется, могло бы повернуть нашу частную жизнь и нашу общую историю по какому-то иному руслу. И почему нам всегда кажется, будто бы то, что могло с нами произойти, но не произошло, непременно было бы лучше, достойнее, правильнее того, что было и есть?

Да, и биография, и история – это текст. Но это такой текст, в котором ничего нельзя исправить. И его нельзя переиздать в исправленном и дополненном виде. Это тот случай, когда “из песни слова не выкинешь”, когда “вылетит – не поймаешь”, когда “не вырубишь топором”.

Исправить ничего нельзя. А помнить – необходимо. Поучительна ли наша память? Разумеется, поучительна и даже спасительна. Дает ли она гарантии от повторения глупостей и злодеяний? Нет, конечно. Наша память, собственно, именно об этом и свидетельствует. Ну так и что с того? Текст-то все равно продолжается.

Как важно быть серьезным

Существует такое понятие, как “звериная серьезность”. В наши дни, как это время от времени случается с метафорами, это понятие обретает почти буквальный, а иногда, прямо скажем, и зловещий смысл.

Серьезное и смешное туго переплетены и перепутаны, особенно теперь. Манифестируемая, натужная и надрывная серьезность всегда смешна. Но когда ее становится слишком много, то уже и не очень.

Вот, для примера, такое, уже довольно давнее, сообщение из новостной ленты: “Депутат такой-то предложил изменить дизайн 100-рублевой купюры из-за оголенного Аполлона, изображенного на ней”. Видимо, более эффективного способа укрепления шатающейся, как старый забор, российской валюты не нашлось.

Ну что ж, хотя бы это...

Но это уже почему-то совсем не смешно. Примерно так же бывает иногда, когда долго сидишь за общим столом с человеком, который непрерывно шутит и каламбурит. И ты уже с некоторой тоской ожидаешь чего-то очередного. И смеешься уже скорее из вежливости. Даже если шутки вполне удаются.

Беспрерывный, не дающий нам возможности перевести дух поток подобных новостей вообще-то необычайно опасен. Прежде всего тем, что мы рискуем в результате всего этого совсем лишиться чувства юмора. А это самое, пожалуй, неприятное, что может с нами случиться. На нем, на этом чувстве, все-таки держится если не все, то очень многое.

Впрочем, в наши дни наблюдается массовая атрофия всяческих чувств – сострадания, справедливости, собственного достоинства, юмора.

Даром что все чаще слышатся слова об “оскорблении чувств”. Да полно вам! Можно ли оскорбить то, чего нет? Впрочем, нет – одно из чувств все-таки живет и чувствует себя все бодрее. Это чувство ненависти.

Повышенная серьезность, особенно по отношению к самому себе, свойственна фашизоидно-му типу сознания. Там всякая улыбочность, ироничность, рефлексия считаются чем-то чуть ли не женственным, чем-то “бабским”. Там всюду культивируется наружная “мужественность” с ее склонностью к униформированности, военизованности, ко всяческим житейским или фразеологическим пошлостям вроде того, что “в наших жилах течет кровь, а не вода”. Там культивируется презрение ко всякой поведенческой ненормативности, ко всякой приватности и особенности. Там любят свою повседневную жизнь окружать и оформлять товарным количеством фетишей, символов, знаков и значков, флажков и ленточек, без которых хотя бы даже призрачная уверенность в себе, в своих силах, возможностях, способностях сводима к нулю.

И, конечно, необычайно высоко там ценится оперное “геройство”.

Между героизмом и геройствованием есть очень существенная разница. А если точнее – то эти два понятия противоположны друг другу

Подлинные герои новейшего времени – такие, каким был, например, академик Сахаров, – их наружность, их интонации, их стиль общения и повседневного поведения, были на редкость не “геройскими”, они на корню разрушали всякие школярские представления о том, какие бывают “герои”.

Поэтому такие люди всегда смешат и раздражают дураков. Для дураков герой – это какое-нибудь мрачное, обвешанное воинственными полосатыми ленточками и бусами из тигриных зубов потное чучело в камуфляже.

Подростково-приблатненное сознание понимает героизм прежде всего как наружные атрибуты всевозможной пацанской крутизны.

Гадкие подростки уважают бицепс, нарядную фикса, перышко с наборной рукояткой, скучающий презрительный взгляд, медленную внушительную речь, снайперский плевков сквозь дырку в зубах.

А пожилую близорукую учительницу они презирают всей своей тухлой душой. Они открыто смеются над ней и безнаказанно делают непристойные жесты перед самым ее носом.

Вот и наши, так сказать, законодатели. С одной стороны, их законотворческие телодвижения часто бывают гомерически потешны. А чего в них все же больше – глупого или подлого, – не всегда можно с ходу определить.

Но сами-то они этого не подозревают и, кажется, не ведают о том, как их “гэги” воспринимаются со стороны. Потому, скажем, столь обаятельны бывают наши “четвероногие друзья” – кошки и собаки, что они иногда ведут себя ужасно смешно, вовсе не подозревая об этом. Они бывают очень смешными, потому что они очень серьезны. То же свойственно и маленьким детям в той волшебной стадии, когда они начинают овладевать речью.

Но между детьми, кошками, собаками, морскими свинками с одной стороны и членами депутатского корпуса – с другой есть одна существенная разница: маленькие дети, а также кошки, собаки, львы, орлы и куропатки, не говоря уже о рогатых оленях, не принимают федеральных законов и, тем более, не претендуют на то, чтобы их “законы” были бы обязательны к исполнению. Будучи людьми безысходно серьезными и катастрофически неспособными к самоиронии, они свято убеждены в том, что их глубокомысленные, исполненные государственной озабоченности лица смотрятся приличнее, чем, например, микроскопическая, различимая лишь зорким и бдительным депутатским глазом гипсовая пиписька сторублевого Аполлона.

Любое высказывание, любое коммуникативное поведение, лишенное признаков рефлексии, является необычайно скоропортящимся продуктом. Оно превращается в самопародию практически мгновенно.

Смешное и пародийное далеко не всегда невинно, далеко не всегда безопасно.

Вот, например, необычайно расплодившиеся в наши дни носители имперско-военного дискурса в обычной, в нормальной исторической ситуации были бы просто смешны. В ситуации же всеобщей пороховой взвинченности они еще и реально опасны.

Пытаться разоблачать содержательную или фактологическую составляющую их риторики – занятие неблагодарное и едва ли не более бессмысленное, чем сама эта риторика.

И можно, и нужно разоблачать, подвергать деконструкции их речевое поведение, их интонации, их пластику, выражения их лиц, их жестикуляцию. Ибо все это в совокупности и во взаимодействии собственно и есть содержание. А другого и нет, даже не ищите.

Там, где звериная серьезность, там же и ее близкая родственница, которую принято называть “пошлостью”.

Кто-то из умных людей заметил, что пошлость по прошествии времени становится стилем. Мне нравится эта мысль, и я ее вполне разделяю. Но я все же к ней, к этой мысли, кое-что добавил бы.

Да, пошлость рано или поздно становится стилем. Но только в том случае, если по дороге к “стилю” она не успеет преобразоваться в “кровь и почву”, в “обострение классово-борьбы”, в “Русский мир”, в смерть, в разрушение, в войну.

Именно поэтому столь насущен хотя бы приблизительный общественный договор, хоть как-то регулирующий общественные представления о стиле и о пошлости и, главное, об их фундаментальном различии.

Да только откуда бы этому договору взяться, если многие из тех, кому просто по профессиональной обязанности положено распознавать эти границы, с детским щенячьим восторгом ныряют в мутную стихию кромешной пошлости.

Знаю, знаю – кто-то непременно спросит: “А с чего это вы решили, что именно вы вправе определять, что есть пошлость, а что нет?”

Согласен, это аргумент неоспоримый. Я не шучу.

Потому что я действительно не знаю, чем на это ответить. Ну, разве что словами Чехова, который в одном из своих писем, не помню, кому адресованному и по какому поводу, написал: “Я знаю, что Шекспир писал лучше, чем Златовратский, но я не могу этого доказать”.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.